

Игорь Шайтанов

Дело № 59: НЛО против основ литературоведения

Вопросы литературы, 2003, № 5, 135-151

Пятьдесят девятый номер «Нового литературного обозрения» – очень толстый. Главный редактор журнала Ирина Прохорова в интервью «НГ Ex Libris» подтвердила, что это *самый* толстый номер за все годы. Вторичный жанровый признак – размер указывает на особую важность содеянного именно в этом самом толстом за все годы номере.

Он носит название «Другие истории литературы» и наконец-то осуществил давно лелеемую Ириной Прохоровой мечту, или, если воспользоваться ее словом, «задумку»: «...поговорить о судьбе литературоведения как отдельной дисциплины и вообще об основах современного гуманитарного знания» (НГ Ex Libris, 10 апреля 2003 года).

Право, не знаю, кому эта «задумка» принадлежит, поскольку в редколлегии НЛО теперь две Ирины Прохоровы: одна – главный редактор, а другая – отдел теории. Ирина Прохорова как главный редактор – это понятно. Время от времени она обращается с приветственными письмами к читателям НЛО. Но пересмотр основ литературоведения как будто бы – по отделу теории. Буду полагать, что в данном случае мы имеем «два в одном»: теоретика и главного редактора. Тем более что обращение к «любезному читателю» в самом толстом за все годы номере, подписанное главным редактором, совпадает с тем, что сообщила Ирина Прохорова в газетном интервью.

Приступим к чтению этого самого... в общем, пятьдесят девятого номера. Первым, как положено, стоит содержание, каковое и приоткрывает грандиозность замысла. Обычных рубрик нет. Они сметены неистойвой задумкой главного редактора – потрясти основы литературоведения. Вместо рубрик – разделы. Название каждого начинается одним и тем же словом – «после»: «После систем», «После нации», «После литературы», «После дисциплин», «После бинарности», «После канонизации» и еще несколько «после».

В революционные 20-е годы это называлось: «Смена всех».

За содержанием следует письмо к «любезному читателю», озаглавленное «Приглашение к спору». Оно возвещает уже известное нам из газетного интервью главного редактора, с некоторой стилистической поправкой: то, что именовалось «задумкой» проросло «очередным *opus magnum* НЛО». *Opus magnum* с эпитетом «очередной» – сильный стилистический жест, достойный «задумки». Стилистика редакционных материалов в НЛО – это отдельная бюрократическая песня. Не могу отказать себе в удовольствии хотя бы чуть-чуть процитировать из директивных распоряжений, выданных современному литературоведению: «За десятилетие бурного развития отечественной гуманитарной мысли, быстрой ликвидации ею теоретических лакун, ее упорных попыток интернационализации сложилась совершенно иная конфигурация...» (с. 9).

«Любезный читатель», надеюсь, понимает, кто осуществил ликвидацию на основе интернационализации в целях конфигурации? Кто у нас недавно отметил свое десятилетие? Все это проделало НЛО.

Итак, «приглашение к спору». Оно выдается не первый раз. Еще в юбилейном пятидесятом номере Ирина Прохорова всех пригласила полемизировать и предвидела, что время споров грядет. Я не хотел обмануть ее ожиданий и в «Вопросах литературы» (2002, № 2) начал полемику. Ничего хорошего не вышло (см. об этом ВЛ, 2003, № 3, с. 21–22). Да и сейчас И. Прохорова с неудовольствием помянула несколько «спорадических выплесков критических статей», авторы которых буквально приняли приглашение к спору и поспорили с НЛО:

«полемика вокруг 'нового историзма' ('выплеск' мой. – И.Ш.), «перебранка о серебряном веке»...

В чем мы все провинились, почему выплеснули не то, что от нас ожидали? Оказывается, «гуманитарная пресса <...> бедна дебатами и принципиальными спорами о дальнейших путях развития...» (с. 8).

Рискну опять вызвать неудовольствие, но замечу, что и серебряный век, и «новый историзм» (в нескольких номерах НЛО объявлявшийся тем самым «дальнейшим путем») не вовсе беспринципные темы. Я же не знал, что в НЛО передумали и теперь числят «новый историзм» среди «локальных – во всех отношениях – литературоведческих 'сенсаций'...» (Л.Гудков, Б.Дубин, с. 218). И я ведь писал об этом.

Ну, хорошо, попытаемся еще раз – «принципиально» и «о дальнейших путях», благо руководящий повод для этого нам дан.

Минуя графические и версификационные приколы, перехожу к делу. Открыть номер доверено Татьяне Венедиктовой – «О пользе литературной истории для жизни». Это напоминание о том, куда «базовая» модель литературной истории восходит, кем создавалась и почему вдруг впала в кризисное состояние, пережив драматическое «понижение в статусе» (с. 16). Прежде чем идти к «другим историям литературы», разумно вспомнить, какой она была прежде и чем теперь нас не устраивает. Несколько широких мазков: Эмерсон, Гадамер, Шлегель, Элиот... Ироническое отречение от нынешнего состояния дел: «...в целом чувствуем себя уютно в обжитом коконе Периодов, Жанров, Направлений, Измов» (с. 13).

Решительно и смело. Только можно вопрос: жанры и измы – это в одну кучу? Ни тех, ни других больше нет? Бахтин и Тынянов считали иначе и держались подальше от измов, поближе к жанрам. Ну и бог с ними, кому они теперь вместе со своими жанрами интересны. Все начинается здесь и сейчас.

В первом разделе – «После систем» – всего одна статья. Но большая – 70 страниц. Это пугает. Успокаивает имя автора – Михаил Ямпольский: читать не обязательно. Дело даже не в Михаиле Ямпольском, а в избранном им жанре, модном и престижном. Я бы назвал этот жанр критического дискурса – *цитатным коконом*. Берущийся за него должен быть уверен в твердом знании по крайней мере трех-четырёх языков. До недавнего времени случай у нас редкий. Поэтому и жанр был не многим по зубам.

Ямпольский языками и жанром владеет. Тема «после систем» им избрана основательная: «История культуры как история духа и естественная история». Пространство для цитирования застолблено обширное. Чтение двухсот двадцати многоязыких примечаний само по себе доставляет неизъяснимое удовольствие. А статья? Не будем о грустном. Не разматывайте кокон, поскольку результат известен: заставленная цитатами пустота или банальность.

Впрочем, в этот раз опытный мастер странно подставился. Сам начал делать выводы, явив под занавес смыслового уродца: «История культуры (и об этом не говорилось достаточно внятно) с какого-то момента строится первоначально как платонизирующая история, а затем как история градаций и умозрительного генезиса. Сначала можно было установить абсолютную идентичность прекрасного в искусстве Древней Греции и эпохи Ренессанса. Затем эта 'фиксированность' вида уступила место 'генетическим' (в понимании Тынянова) цепочкам, в полной мере сохраняющим платонизирующие ориентации...» (с. 75).

Это очень точное резюме. Ничего больше в статье минус цитаты найти нельзя. Если приблизить вывод к русскому языку и дополнить некоторыми общеизвестными фактами, излагаемыми и в данной статье, то сказано следующее. Пластические искусства до эпохи Возрождения были приравнены к ремеслам, но, увиденные в духе платонизма как попытка подражания божественным идеям, они приобрели новый статус – изящных искусств. Сначала их мыслили по аналогии с античностью (воз-рождение), а затем стали выстраивать по эпохам. «Генетическое» понимание здесь ни при чем, ибо сложилось много позже, но еще до Тынянова, который, следовательно, также ни при чем. Про «платонизирующие ориентации» объяснить, пожалуй, не смогу.

Да, еще следует добавить: к истории литературы данная конструкция прямого отношения не имеет, поскольку словесное искусство к ремеслу никогда не приравнивалось, у него другая история, писавшаяся без «платонизирующей ориентации». История литературы начала

складываться по-аристотелевски на страницах трактатов о поэтике. Это общеизвестно, но здесь об этом как-то забылось.

После Ямпольского нужна пауза. И она сделана: на двух страницах изложен первый в этом номере «авторский проект»: Дмитрий Бак «Литературоведение как провокация чтения: есть ли автор у истории литературы?»

Для меня лично этот проект таки оказался провокативным. Среди двенадцати тезисов два имеют ко мне прямое отношение:

2. Исчерпанность традиционной дихотомии «спецификаторство – антиспецификаторство» (читай: «неоформализм – неомарксизм»).

3. В этой связи – полемика с известной анти-‘НЛО’-вской статьей в «Вопросах литературы» (с. 90).

Дана поясняющая ссылка на мою анти-‘НЛО’-вскую статью «‘Бытовая’ история» (ВЛ, 2002, № 2).

В этом тезисном изложении не очень понятно, предполагается ли полемика со мной как с тем, кто возрождает «традиционную дихотомию». Если предполагается, то это странно, поскольку я пытался показать, как эту дихотомию преодолевал во второй половине 20-х годов классический формализм, именно в этом преодолении переставший быть формализмом. К сожалению, писал я, этого не осознали ни тогда, ни позже (не осознали те, кто остаются в пределах дихотомии).

Так что в борьбе Д.Бака с условным противником я, безусловно, на стороне Д.Бака.

* * *

По завершении паузы — раздел второй «После нации».

Но здесь я хочу напомнить, что читаем мы самый толстый из всех ранее выходящих номеров НЛО. В нем более шестисот страниц. Я буду останавливаться не на всем подряд, а лишь на том, что привлекает внимание и имеет прямое отношение к «дальнейшим путям» или к «истории литературы».

Для меня разговор по существу «основ» литературоведения начался на с.103 вместе со статьей Александра Эткинда «Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации»: «Констатации кризиса русской филологии стали настолько привычными, что сами по себе мало у кого вызывают возражения». Таков зачин.

Очень скоро выясняется, что он неточен по обещанию, с одной стороны, сужая тему, а с другой — обманчиво расширяя ее. Речь у А.Эткинда идет не о кризисе русской филологии, а о кризисе изучения русской литературы на фоне общего кризиса филологии и понизившегося статуса литературы в системе гуманитарного знания. На эти общие темы действительно говорилось немало. О том, как кризис сказался на состоянии дел в западных университетах, недавно на личном опыте рассказывали в «Вопросах литературы» наши британские коллеги: Стивен Ловелл и Катриона Келли (2003, № 3, 4).

Кризис в изучении русской литературы по сей день отрефлектирован недостаточно, и А.Эткинд абсолютно прав, говоря о его двусторонности: он поразил как отечественную русистику, так и западную славистику. У нас многие надежды возлагались на то, что состояние дел резко обновится, как только поднимется «железный занавес» и все богатство, накопленное нашими коллегами, станет нам доступно. Ну вот — стало доступно. И породило разочарование. Западные издания текстов, комментариев к ним сразу же показались не вполне удовлетворительными. Все-таки это наши писатели, и естественно, что именно в России будут подготовлены их наиболее авторитетные издания. Переводы исследовательских книг, в большом количестве появившиеся в России порой спустя десятилетия после того, как книги были написаны, откровением не стали.

Установление открытого контакта оказалось болезненным и для славистов. Они утратили преимущества, которыми обладали, пока здесь многого нельзя было ни сказать, ни издать. В результате те, кто сейчас работают на Западе, пытаются удержать старую установку: заметить то, на что в России не обращают внимания. Но сегодня это ведет к маргинализации славистики. Повторяется ситуация, подобная той, что когда-то была у нас, когда основным автором

современной зарубежной литературы считался никому не ведомый у себя дома Джеймс Олдридж. Таких русских олдриджей за рубежом расплодилось бесконечно много. Срабатывает удачный пиар, личные связи. И если бы в России стал доступен список тех, по кому защищают в западных университетах дипломы и диссертации¹ (и тех, кого числят знаменитыми русскими писателями), то он вызвал бы немалое изумление количеством имен, о которых здесь не слыхивали, и смехотворным уровнем их творений.

Мы не умеем жить без надежды, что за граница нам поможет. Тексты теперь мы издаем сами, сами их изучаем и комментируем, но нам по-прежнему нужны гранты, под которые пишутся заявки в ожидаемых от нас терминах и предписанных направлениях мысли: постколониализм, гендерные исследования, культура меньшинств...

А.Эткинд напомнил, что все эти направления у нас недостаточно освоены. Недостаточно не в том смысле, что мы не собрали всех западных грантов, на которые могли бы рассчитывать, а в том, что реальные возможности изучения литературы лежат именно на этих путях. Отсюда сожаление по тому поводу, что «постструктуралистская мысль не приживается в России». Да и сам структурализм в России оказался очень однобоким, «чудотворным способом», соединенным «с традиционными архивными занятиями» (с. 104).

В советские времена желание ускользнуть из-под влияния официоза вело к поиску объективных, свободных от идеологии реальностей. В качестве таковых были выбраны архивный факт и независимая от сознания структура. Ничего в этом «чудотворного» не было, ибо никаких чудес не породило, но странным и причудливым это сочетание, по крайней мере при взгляде, обращенном назад, безусловно, выглядит.

Советский структурализм оказался отделенным «от марксизма и психоанализа, с которыми он был сращен множеством родовых связей» (с. 104). Действительно, из трех имен великих предшественников, названных в свое время К. Леви-Строссом, в России структуралистским авторитетом остался лишь В.Пропп. От Маркса в нашем структурализме спасались, а Фрейд использовать было невозможно, да к тому же психологизм издавна был отвергнут классической русской филологией.

Сегодня, полагает А.Эткинд, есть возможность восполнить старые пробелы на новом уровне, прибегнув к современным «антропологическим концепциям». Они уже применены в ряде исследований русской литературы (К.Кларк, Г.Фрейдин, А.Курганов, А.Зорин).

«Русская филология остается так же далека от истории или социальных наук, как она была далека от них восемьдесят или двадцать лет назад» (с. 103). Если упрек сформулирован в столь общей форме, то рекомендации выдаются вполне конкретные. А.Эткинд, предложив короткий обзор общего состояния дел, переходит к иллюстрации того, что могло бы быть сделано в плане изучения классического русского романа в свете колониальной теории. Это очень хороший ход, хотя и всегда опасный для теоретика своей наглядностью достоинств или несостоятельности избранного метода.

Для рассмотрения предложены три произведения: «Капитанская дочка», «Идиот» и «Серебряный голубь». Во всех трех выявлено наличие «триангулярной структуры» двойного значения: «Во всех описанных здесь треугольниках гендерная структура пересекается с классовой» (с. 116).

Героями триангулярности у Пушкина выступают: «Гринев – Пугачев – Машенька; Слабый Человек Культуры – Мудрый Человек из Народа – Русская Красавица...» (с. 117).

Вопросы хочется задавать уже на этом этапе – расписывания по функциям. Отчего же Человек Культуры непременно слаб, и разве он слабый у Пушкина? А Человек из Народа – разве он прежде всего Мудрый? Русская Красавица – это не к Пушкину, а к Виктору Ерофееву. Если накладывать социальный треугольник на гендерный, то как обойтись без Швабрина, который

¹ Чтобы не быть голословным, приведу свидетельство из первых рук. Сергей Бирюков, с восторгом повествуя об успехах в Германии лидера «сонорной поэзии» Валерия Шерстяного, сообщает: «...Когда я попросил поэта прислать мне список 'литературы вопроса' (то есть о творчестве Шерстяного. – *И.Ш.*), то был попросту удручен: около десятка книг и диссертаций, некоторые по тысяче с лишним страниц» (*Бирюков С.* Любовь к трем авангардам (разрозненные заметки) // *Арион*, 2000, № 3, с. 65).

участвует в создании гендерного треугольника и слабостью в качестве Человека Культуры уж никак не отмечен?

Этих вопросов А.Эткинд не ставит и потому на них не отвечает. Он занят повышением исторической образованности русской филологии и рекомендует перечитать «Капитанскую дочку» «в сравнительном контексте таких историй, как более позднее Mutiny (1857), восстание сипаев в британской Индии, которое ныне корректно называть Первой войной за независимость» (с. 117).

Совершенно непонятно, что этот поздний опыт даст для понимания «Капитанской дочки». Ее связь с английской колониальной историей, кажется, ни для кого не является секретом, поскольку сама триангулярность была на структурном уровне перенесена Пушкиным из шотландских романов Вальтера Скотта.

Понятно, что в «Идиоте» по тем же самым функциям расписаны Мышкин – Рогожин – Настасья Филипповна (опять же потерялась Аглая Епанчина – или она не Русская Красавица?). Если Пушкин пожертвовал Человеком из Народа, то Достоевский – Русской Красавицей. Это чревато, согласно антропологической теории Жирара, «апокалиптической катастрофой», отчего все герои в «Идиоте» кончают плохо.

В «Серебряном голубе» Андрей Белый принес в жертву Человека Культуры. С этой жертвой гораздо легче сжиться и примириться, поскольку за ней – «победа колонизованного народа» (с. 121).

Но что это объясняет? Автор признает: «Все это не объясняет, конечно, зачем убивать Настасью Филипповну...» (с.120). И все эти триангулярные модели «не описывают самого своеобразного, что характеризовало русскую традицию...» (с. 123).

Что же они описывают и объясняют? Они придают форму упорядоченного схематизма тому, что, в общем, и так понятно. Вспоминается, как в советские времена некоторые структуралисты оправдывались: мы ведь не подрываем методологических основ и собственно ничего нового не изобретаем, а пытаемся научно обосновать то, до чего раньше доходили эмпирически и интуитивно. И действительно, ничего нового нет, кроме жесткой схемы, которая создается как будто бы специально для того, чтобы, создав ее, перейти к сожалениям по поводу ее репрезентативной недостаточности, неспособности объяснить и описать главное.

В том же разделе «После наций» за статьей А.Эткинда следует статья ученого из США Андреаса Шенле «Между 'древней' и 'новой' Россией: руины у раннего Карамзина как место 'modernity'». Статья любопытна в своей конкретной части, в том, что касается руин, но она бесхитростна, когда общие места школьного литературоведения переводятся на язык бинарностей и триангулярностей: «Итак, в своем отношении к Лизе Эраст повторяет асимметричность отношений Москвы к подвластным ей территориям. Логика образной системы повести теперь вырисовывается более явственно. Образ Эраста семантически близок образу имперской Москвы, в то время как Лизина мать и до некоторой степени сама Лиза оказываются в одном тематическом ряду с образом Москвы православной. Эраст и Москва имперская воплощают идеологию самоопределения и торговой экспансии, мать и дочь – ощущение обездоленности и полной зависимости от Божьего Промысла» (с. 135).

Состояние культуры определяется уровнем языковой саморефлексии. Если Человек Культуры так мыслит и допускает только такие идеи, которые можно изложить на пальцах, то он действительно очень слабый человек, а его культура ничтожна. Ясность – необходимое свойство мысли, но за нее не следует принимать убогий редукционизм, то есть способность уплощить любую мысль до элементарно-идеологической схемы.

«Антропологические» откровения, которые рекламирует А.Эткинд, применительно к области литературы представляют собой новый виток старого спора. Сначала был мифологизм, потом – ритуализм, за который до сих пор современные мифологи порицают А.Н.Веселовского (не повинного ни в том, ни в другом), а теперь нас накрывает новая волна ритуальных схем: триангулярность с определением третьего лишнего и принесением его в жертву.

Прежде чем русская филология сделает выбор в пользу «другой истории литературы», построенной на основаниях современных полит-культурологических концепций, я хотел бы напомнить еще об одном. Эти концепции: постколониализм, гендерные исследования, отстаивание прав всех и всяческих меньшинств – были порождены политической ситуацией,

которой в мире больше нет. Ее нет с 11 сентября 2001 года. До этой даты могло показаться, что безусловная сила в современном мире – демократическое государство западного типа. Его существованию ничто серьезно не угрожает. Следовательно, оно всегда будет в состоянии компенсировать недостаток нравственной и гражданской ответственности у отдельных членов общества и групп населения, сведя их до статуса окказиональных правонарушений. А чем еще может быть обеспечено право быть свободным? Либо ответственностью каждого, имеющего это право, либо внешним ограничением, каковое и обеспечит демократическое государство, готовое защитить свободу одних от свободы других.

Теперь все оказалось много сложнее. Баланс сил изменился. Политкорректность, более всего запрещавшая хоть в чем-то ограничить тех, кто могли счесть себя в недавнем прошлом урезанными в правах и возможностях, была нарушена на самом высоком уровне межгосударственных отношений. В 2003 году Человек Культуры должен был снова показать, что умеет быть не только слабым. Я полагаю, что это общее изменение ситуации должно будет сказаться и на всех недавно модных и обеспеченных грантами направлениях исследования. Должен быть скорректирован политкорректный перекокс, допущенный в их пользу. Это тем более насущно, что два прошедших десятилетия создали некоторый запас новых фактов и идей, ранее игнорируемых или недооцененных, но одновременно навязали множество бинарных и триангулярных схем, сводящих культурное мышление до примитива под лозунгом: «Все должно быть доступно (в смысле – понятно) всем». Не думаю, что интеллектуальная и культурная уравниловка более безопасна и невинна, чем желание поделить поровну имеющуюся собственность.

Правда, авторы «другой истории литературы» мне возразят, что моя экономическая метафора неверна, ибо они представляют современную культуру совсем не как распределитель, а как рынок, пришедший на смену храму: «В ходе этой культурной революции Храм Вкуса, некогда предназначенный для горстки посвященных и ревниво охраняемый монархическим государством, открывает свои двери массе сочинений всех родов и всех сословий. Сакральное пространство Храма расширяется до размеров Республики словесности. Нет больше благородных или народных жанров, есть лишь масса предлагаемых на выбор разнородных сочинений. Нет больше посвященных и профанов, есть лишь смешанная толпа равноправных и взаимозаменяемых производителей и потребителей. Словом, рынок» (Филипп Ренье, «Тезисы к дисциплине, именуемой 'литература'», с. 152).

«Бойся дьявола и аналогий», – говорил, кажется, Гегель. Особенно следует быть осторожным с аналогиями между материей и духом. Культурный продукт выносится на рынок и там подвластен его законам. Чью продукцию купили, тот и получит деньги. Но значит ли это, что нет «профанов» и «посвященных»? Давайте перенесем аналогию из сферы духовной в сферу интеллектуальную, более понятную материально ориентированному сознанию. Если выпускник начальной школы заявит, что не существует высшей математики, значит ли, что ее следует отменить? Это было бы общественно опасным деянием. Но еще более катастрофические последствия будет иметь переписывание истории литературы под вкусы любителя попсы или крутого читва.

Это была бы «другая история литературы». В той, которую я хотел бы видеть, должны присутствовать и детектив и попса, но пишется эта история не профаном, а профессионалом, то есть – посвященным.

* * *

Большинство участников пятьдесят девятого номера НЛО и предшествующей ему конференции говорили каждый о своем с большей или меньшей привязкой к заданной теме. Об этом откровенно и сообщил названием своего выступления Н. Богомолов: «Несколько размышлений на заданную тему». Определив практические аспекты «истории литературы»: «педагогическая» (для школы или университета), «концептуальная», «академическая», – автор говорит о необходимости продолжать историю литературы на совмещении литературного и внелитературного рядов, что было начато «формалистами и их учениками», продолжено структуралистами и Ю.М.Лотманом.

Это как раз то, что полемически собирался защищать Д.Бак, преодолевая дихотомию «спецификаторство – антиспецификаторство» (в необходимости чего я – повторяю – с ним совершенно солидарен). Однако (вернитесь чуть выше – к построениям А.Эткинда и банальному на сегодня откровению Ф.Ренье) не получается ли теперь так, что из этой самой дихотомии пытаются выйти, просто забыв о «специфике»: «Не говорите мне о специфике, иначе я обвиню вас в том, что вы не преодолели дихотомию»?

Н.Богомоллов тверд на этот счет и уступок «другим историям литературы» не делает: «Наиболее плодотворной для литературоведа, с моей точки зрения, является позиция аналитика внутрিলитературного ряда, и в первую очередь, конечно, произведений самих по себе» (с.180). Он отстаивает далее эту мысль в полемике: «...история литературы, делающая саму словесность материалом для чего-то ей несвойственного (истории общественной мысли или классовой борьбы, экономических обстоятельств времени или национального самосознания, иллюстрации политических процессов или смены культурных парадигм), перестает быть историей литературы *par excellence*, превращаясь в нечто иное» (с. 181).

Таково предупреждение тем, кто легко согласился, будто литература более никому не интересна, ее статус безнадежно упал и теперь ее саму следует принести в жертву интердисциплинарности. Того, кто читать и знать ничего не хочет, не заманишь ни в литературу, ни в историю литературы самыми смелыми треугольными интенциями. Но не будем приуменьшать число тех, кто читает, исследует, находит. Обидно другое, напоминает Н. Богомоллов, уже как глубокий знаток серебряного века: до сих пор многие материалы не тронуты, не освоены, а то, что освоено в последние годы, с трудом попадает в поле зрения и публикаторов, и преподавателей, и историков литературы.

Требование полноты знания остается в силе, а сейчас, когда все можно знать и многое доступно для изучения, не знать – это уже не беда, а вина исследователя. О другом столь же всеобщем и обязательном качестве истории литературы напоминает М.Гаспаров – о степени точности. Его обычный рефрен: считать, надо считать. Ничего не следует делать на глазок. И, как известно, сам М.Гаспаров неутомимо считает, совершив нечто уникальное в академической науке, по сути дела, воплотив в своем лице целое направление филологического знания – стиховедение.

Нужно ли считать? Или, как недавно назвал свою статью в «Вопросах литературы» Бенедикт Сарнов: «Зачем считать дольки у Игоря Кобзева?» (ВЛ, 2003, № 4). Как сторонник того, что и после уничтожения спецификаторской дихотомии «специфика» не должна быть предана забвению, а вместе с нею и способность судить о достоинствах произведения, я как будто должен согласиться, что ничего у Игоря Кобзева считать не нужно, поскольку его самого невозможно счесть поэтом. Но я отвечаю иначе: если считать, то считать нужно у всех.

Сам я не считаю, но постоянно пользуюсь результатами М.Гаспарова в своей работе. Приведу пример (очевидный, но необходимый, поскольку возникли сомнения). Недавно мне нужно было показать, что замена первоначально четырехстопного ямба на пятистопный в поэме Н.Заболоцкого «Лодейников» была сознательным жанровым ходом – к элегии и романсу. беру М.Гаспарова и нахожу, что вначале этот размер утверждается в России как элегический, а затем к концу XIX века усваивается романсом. То, что и требовалось доказать. Чтобы это установить, М.Гаспаров должен был вывести статистику, учитывающую кобзевых той эпохи.

Изддержки арифметического подхода очевидны. Слишком часто и многим начинает казаться: сосчитал и закрыл тему. В истории литературы окончательный результат не может быть выдан в цифровом выражении, но без точного знания окончательный результат не может быть приближенным к литературной реальности.

Напоминания Н.Богомоллова и М.Гаспарова относятся к «другой» истории литературы только в том смысле, что существующая теперь должна стать и постоянно становится другой. То, что мы имеем, радовать не может. К тому же сильны факторы, побуждающие к переменам. Об этом – выступление Галина Тиханова (болгарского ученого, живущего в Оксфорде) «Будущее истории литературы: три вызова XXI века».

Три вызова – это национализм (некогда породивший жанр истории литературы и не торопящийся умереть в эпоху глобализма), средства передачи информации (кино и Интернет как соперники литературы) и генетика (судьба человеческого рода и «социальной памяти»).

Пока человеческий род еще жив, и истории литературы продолжают писать. Галин Тиханов приводит некоторые примеры новых историй национальных литератур, созданных на Западе.

* * *

Мы недовольны тем, как история литературы пишется у нас. И даже порой склонны заметить в ней только дурное, преувеличить его, как это делает в своей презанимательной пародии Илья Кукулин – «‘Сумрачный лес’ как предмет ажиотажного спроса, или Почему приставка ‘пост-’ потеряла свое значение».

Все, что иронично писала Т.Венедиктова об уютном существовании историка литературы «в обжитом коконе Периодов, Жанров, Направлений, Измов», – все представлено И.Кукулиным с комическим избытком, преувеличено до абсурда, с незаурядным остроумием доведено до бессмысленной стройности. Иногда кажется, что, выстраивая картину поэзии за последние пятнадцать лет, критик придумывает многие имена и тексты, но такого, что называется, нарочно не придумаешь. Кукулин работает с материалом в широком пространстве: от филологических экзерсисов (с новаторской тенденцией) до искренней графомании, – для пущей убедительности вбрасывая отдельные имена реальных поэтов: И.Жданов, С.Гандлевский, А.Еременко, – или недавно громкие, но уже отгремевшие: Д.Пригов, Т.Кибиров.

А вокруг них крутится причудливый хоровод. С миной академической серьезности, даже важности И.Кукулин устанавливает связи, дает определения, проводит разграничения внутри групп и измов, оценивает эволюцию. Это исполнено в столь, увы, часто сопутствующей академическим текстам стилистике, где бездарное уравнивается со значительным, укрупняются микроскопические величины, мелочно устанавливаются традиции, влияния, степени родства. В общем, как у Саши Черного:

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
«О влияньи желудка на стиль»...
«Читатель»

Но я как будто недооцениваю стихийно-пародийной силы самого Ильи Кукулина, прибегая к помощи Саши Черного. Вот несколько примеров из его собственного текста:

«Творчество Соковнина находится в своего рода эстетическом промежутке между концептуализмом, с одной стороны (есть несомненные переключки между поэзией Соковнина и Михаила Сухотина), и, с другой стороны, психоделической метафизической поэзией Елизаветы Мнацакановой и Виктора Летцева, которые достаточно отчетливо отличаются от концептуалистских текстов» (с. 383).

«Речь идет не о какой-то единой стилистике или поэтике, а о *пространстве взаимодействия очень разных поэтик*...» И некоторые литераторы, в клуб ‘Поэзия’ не входившие, могут быть опознаны как участники этого пространства — например, Андрей Тавров (публиковался также под фамилией Суздальцев).

Баланс твой бежал от мизинца ноги, как выстрел в окно,
трещиной-веткой, на которой повисла ты,
цветком достигая глаза, снявшегося в кино.
Раковина восходила из внутренней темноты» (с. 374).

«Благодаря постоянным обсуждениям тогда становились понятны и эволюция ‘классического концептуализма’, и рождение на его основе ‘младшего’ концептуализма – например, в изводе Константина Звездочетова или группы ‘Медицинская герменевтика’. Это осознание преемственности и изменчивости проблематики было способом наглядно ощутить

современное искусство как открытое социокультурное действие, существующее в определенном историческом моменте» (с. 388).

«В результате трансформации образ воспринимается как своего рода отчужденное телесное переживание, становится отчужденно-эротичным – и тем самым теряется возможность интерпретации текста как кода; основой реакции на текст является невербальное отчужденно-эротическое переживание.

Возьми бумажного Тарзана,
Не ставший парусом рюкзак.
Она с закрытыми глазами,
Как будто с третьего туза...
Николай Звягинцев» (с. 389).

«Как уже было сказано, эстетические идеи, связанные с ‘поэтикой личного пересоздания’, не были восприняты как цельный и общий *message* ‘метареалистов’ и авторами 1990-х годов проблематика ‘личного пересоздания’ была во многом переоткрыта заново. Она была переоткрыта – но и иначе понята, потому что была осознана в принципиально ином контексте и с иными целями» (с. 390).

Теоретические связки – плод терминологической и просто языковой зауми (впрочем, может быть, недоуми). Приводимые (или все-таки сочиняемые Ильей Кукулиным?) тексты – продукт филологического энтузиазма и поэтической глухоты. Они трогательно несостоятельны (ибо не состоялись как поэзия) и вызывающе многозначительны, так что прямо подталкивают к написанию на их основе пародийно-академической истории литературы.

Кто-то меня убеждал, будто Илья Кукулин не мыслил свой текст как пародийный. Не верю. Даже если мне это скажет автор, не поверю. Текст ведет автора и в конце концов навязывает ему свою волю: иногда, как помним, кто-то начинал писать пародию, а получалось совсем наоборот, а тут, даже если установка была на серьезный текст, на выходе не могло не получиться пародии.

Эта же пародийная интонация проходит через анкету («О пользе и вреде истории для современности»), которую Илья Кукулин распространил между некоторыми героями своей статьи. Смысл анкеты в том, чтобы выяснить, что же за последние пятнадцать лет изменилось в картине и в концепции истории литературы. Общее убеждение выразил простодушнейший Александр Уланов. Он сообщил о наших достижениях, которые грандиозны, и о прискорбном невнимании к ним со стороны истории литературы: «Очевидно, что публикации последних 15 лет изменили историю русской литературы практически полностью. Но у автора этих строк нет ощущения, что за это время сильно изменилось само представление об истории литературы» (с. 414).

Но все-таки кое-что делается уже: «...только сейчас выходят на поверхность истоки традиции, приведшей к прозе А.Левкина или А.Драгомощенко, – произведения Л.Богданова и П.Улитина. Но это обычное дело живой литературы», – добродушно прощает А.Уланов, хотя всякому непредвзятому наблюдателю ясно, что без ликвидации этих лакун (как говаривала И.Прохорова) общая конфигурация литературы останется катастрофически смазанной.

Когда читаю попытки «другой истории литературы», создаваемой с целью возвысить не современность, а тех, кого в этой современности пишущие историю назначили в великие и выстроили в новую традицию, неизменно вспоминаю фразу, которой один историк циркового искусства открыл свою работу: «Девятнадцатый век в России прошел под знаком конного цирка».

Двадцатый век в России если не прошел, то завершился под знаком противостояния «концептуализма» и «постконцептуализма». Желающих выдать свое шапито за сцену всемирного театра много. Один карабас барабас громогласнее другого, и каждый торопится написать «другую историю литературы».

Но мы уже почти все прочли в самом толстом из ранее вышедших номеров НЛО. Во всяком случае, все, что сочли заслуживающим внимания в виду заявленной темы. В завершение номера предложен пейзаж «после конференции» или треугольная межгендерная композиция,

напоминающая сюжет известной картины эпохи российского колониализма – «Охотники на привале». Главный редактор и два ее верных помощника (им была вынесена благодарность в обращении к «любезному читателю») – Илья Кукулин и Мария Майофис – вспоминают дела минувших дней и делятся новыми «задумками».

Организаторы довольны, а у меня осталось чувство обманутого ожидания: обещали потрясение основ, а сотрясли воздух. Грандиозный замысел запечатлен в названиях разделов и рекламных акциях главного редактора. Ни «принципиального» обсуждения, ни «дальнейших путей», за вычетом нескольких общеизвестных аргументов в пользу «другой истории литературы» и разумных критических замечаний по поводу той, какую сейчас имеем. Да плюс к этому пародийная (если – повторяю – не по намерению, то по смыслу) попытка объять современной («другой») литературой несколько образцов филологической графомании.

Претензия осталась претензией – оставить за собой право решать судьбу дальнейших путей и современной литературы. Все это в самом толстом номере, с самым большим шумом, громковещательностью и комичной беспомощностью, которую обнаружил журнал, не без основания претендовавший в течение целого десятилетия на лидерство в филологии.

НЛО как журнальный и издательский проект выдвинут на Государственную премию. Кому-то это выдвижение кажется незаслуженным и нелепым. А я бы дал НЛО Госпремию. И уверен, что дадут. Это правильно. Госпремией всегда отмечали героев своего времени. Ее получали Метченко и Храпченко. Теперь новое время, и награждают «другие истории литературы».

Девяностые годы в российской филологии прошли под знаком НЛО. Журнал и время совпали: в наличии больших возможностей и в неумении ими достойно воспользоваться, в неразборчивой «ликвидации лакун» на основе «интернационализации», в катастрофических перепадах вкуса и профессионализма, в шумном пиаре, далеко опережающем реальность, в театрализации с канканом и прочими прелестями.

Думаю, что до того, как выйдет этот номер «Вопросов литературы», я успею, хотя бы в верстке, сообщить «любезному читателю», был ли я прав в своем прогнозе. Хотел бы, правда, угадать еще в одном: время, за которое награждают НЛО, должно закончиться вместе с *fin de siècle*. Пора перестать мыслить все новое непременно «другим», воспринимать его как нечто предполагающее полный и окончательный разрыв с тем, что было, предпочитая филологической традиции любую (как теперь говорят в НЛО о некогда столь ими ценимом «новом историзме») «локальную сенсацию».

P.S. Пришло известие: Государственная премия «За лучший просветительский проект» присуждена журналу НЛО.

<https://voplit.ru/article/delo-n-59-nlo-protiv-osnov-literaturovedeniya/>